

ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ



ИНСТИТУТ
ТАЙНЫ ЖИЗНИ
ВОСПИТАНИЦ



Надежда Александровна Лухманова
Институтки. Тайны
жизни воспитанниц
Серия «Институт благородных девиц»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26105884

Институтки. Тайны жизни воспитанниц: Алгоритм; Москва; 2017

ISBN 978-5-906979-67-4

Аннотация

Домашняя и институтская жизнь девочек дореволюционной России предстает перед современным читателем во всех подробностях. Как в прошлом веке девочки получали образование, какие порядки царили в учебных заведениях для девочек, чему их учили, за что наказывали – обо всех переживаниях, проказах и горестях увлекательно и трогательно рассказывает одна из воспитанниц института благородных девиц, знаменитая писательница Надежда Лухманова.

Содержание

Предисловие от издательства	5
Девочки	7
Глава I. Няня	7
Глава II. Император Николай I отворяет мне дверь. – Нянин рассказ о страшном былом	18
Глава III. Моя бабушка. – Ипполитова Лыска. – Розги. – Как меня спасает бабушка	34
Глава IV. Шесть разбойников и бабушкин подарок	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Надежда Лухманова

Институтки. Тайны

жизни воспитанниц

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Предисловие от издательства

Надежда Александровна Лухманова (урожденная Байкова, 1844–1907) родилась в дворянской семье и получила великолепное образование в Павловском институте благородных девиц.

В Санкт-Петербурге Надежда познакомилась с молодым выпускником института инженеров путей сообщения, сыном богатого тюменского купца. После свадьбы молодые отбыли на родину мужа, в Тюмень. Позднее в своих «Очерках из жизни в Сибири» (1895) писательница назовет этот город «глухими местами». Молодая писательница пыталась вписаться в уклад жизни тюменского купечества, внимательно наблюдала окружающую жизнь, впитывала ее красоту и ощущения. Все это она выразила в своих произведениях, посвященных Сибири (романы «Переселенцы» и «В глухих местах» вышли в свет в 1895 году, оригинальная комедия «Сибирский Риголетто» – в 1900 году).

С 1890 года писательница начала сотрудничество в «Правде», «Петербургской жизни» и других изданиях, затем писала театральные рецензии в «Новостях», сотрудничала в «Новом времени». Лейтмотивом всей жизни и творчества писательницы стал «женский вопрос».

Основные свои произведения писательница издала в зрелом возрасте, среди них роман-воспоминание об институт-

ской жизни, который называется «Девочки».

За свою жизнь Надежда Александровна написала около тридцати книг. Ее почти на целый век несправедливо забытое литературное наследие впечатляет обилием и жанровым разнообразием: романы, повести, рассказы, очерки, оригинальные и переводные пьесы.

Девочки

Глава I. Няня

*Человеческое счастье лежит в светлых
воспоминаниях детства...*

Если мне не изменяют мои детские воспоминания, то в конце царствования императора Николая I Павловский кадетский корпус помещался там, где впоследствии было Константиновское училище, а теперь находится артиллерийское (ныне Московский пр.,17.) Я родилась в этом здании и провела в нем свое раннее детство; в памяти моей навсегда сохранилось впечатление очень больших комнат, широких нескончаемых коридоров, громадных лестниц – словом, ощущение простора, широты, высоты и света. То же самое встретило меня и в Павловском институте, куда я поступила восьми лет, и это привило мне на всю жизнь потребность свежего и холодного воздуха; в маленьких теплых комнатах я задыхаюсь и начинаю тосковать, даже мыслям моим становится тесно, и я ощущаю какое-то нервное беспокойство.

Отец мой, полковник в отставке, был экономом Павловского корпуса и Павловского же института для благородных девиц. Как смотрел он на такую «выгодную» тогда службу,

имел ли много побочных доходов – не знаю! Я слышала, что отца очень любили все: и офицеры, его товарищи по службе, и кадеты – и что при нем не было ни «кашных», ни «кисельных» бунтов.



Павловский кадетский корпус (1829–1863) – военное учебное заведение в Санкт-Петербурге.

*Под знамя Павловцев мы дружно поспешим,
За славу Родины всей грудью постоим!
Мы смело на врага,
За русского царя,
На смерть пойдем вперед,
Своей жизни не щадя!!!
Рвется в бой славных Павловцев душа...*

(Марш кадетов)

История этих «возмущений», за которые и был смещен предшественник отца, так часто рассказывалась в нашей семье, что мне казалось долго, будто я сама присутствовала при том, как кадеты, возмущенные тем, что слишком часто к ужину получали гречневую размазню на воде, почти без масла, решились наконец отомстить эконому. Заговорщики явились в столовую с мешочками и фунтиками, свернутыми из толстой бумаги, и, наполнив их кашей, спрятали в карманы. Пользуясь тем, что из столовой, находившейся в отдельном флигеле, приходилось идти в дортуар мимо квартиры эконома, они сложили всю эту кашу грудой у его двери. Проходивший в последней паре дернул звонок; дверь отворил сам эконом, поскользнулся на размазне и чуть не скатился вниз по лестнице.

Так ли случилась эта история – не знаю, но такую именно она представлялась моему воображений, такой я рассказывала ее всегда в институте, с восторгом представляя себе эконома, сидящего на жидкой размазне.

Кисельный бунт выразился в том, что кадеты не притрагивались к этому блюду в течение целой недели, а эконом, ведя с ними борьбу, каждый день угощал их киселем.

Отец, наверно, кормил кадетов порядочно. У него в Павловском корпусе воспитывались три племянника, которые впоследствии, когда приходили навещать меня в Павловский институт, с гордостью заявляли мне, что их никогда не били за дядю, а корми он худо, им так намяли бы бока, что – у!!!

Жила моя семья, должно быть, весело и шумно. Когда я вызываю свои самые ранние воспоминания, в памяти воскресают две совершенно разные картины. В одной я вижу очень светлые комнаты, с массой гостей, с зелеными карточными столами, с роялем, за которым играют, поют... Из всех деталей этого великолепия яснее всего я помню большие подносы с конфетами и себя, крошечную девочку, в нарядном платье, с рыжими локонами, всегда за руку со своей няней Софьюшкой, которая подводит меня то к одному гостю, то к другому и, наклоняясь, шепчет:

– Целуй ручку у бабушки, сделай реверанс дяденьке, теперь иди прощаться с папенькой и с маменькой.

Отца я всегда находила за карточным столом и, несколько не боясь, дергала его за рукав до тех пор, пока он оставлял карты, поднимал меня на руки, целовал и всегда, несмотря на восклицание няни: «Барыня приказали не давать им вина», подносил мне свой стакан, такой тонкий, красивый, широкий, как чашка, из которого я с опаской и все-таки с восхищением отхлебывала шампанского, коньяку с лимонадом или теплого глинтвейна, смотря по тому, что пил в это время отец.

– Стыдно, Наденька, – говорила няня, утирая мне рот, – матушка не велит, а вы (По приказанию матери няня всегда говорила нам, детям, «вы», мы родителям говорили тоже «вы», а всей прислуге – «ты». (Прим. автора.)) все свое...

Но я целовала няню Софьюшку, которую обожала всем

своим детским сердцем, и мы шли дальше отыскивать мать.

Ее мы находили в том зале, где пели и танцевали. Она всегда была окружена офицерами, и я невольно пятилась, замедляла шаги и только подталкиваемая ласковой рукой няни решалась пройти сквозь эту группу нарядных гостей и под сухим, строгим взглядом матери делала как можно грациознее реверанс и шептала: «*Bonne nuit, chere maman!*»¹

Правая рука матери, тонкая, надушенная, покрытая кольцами, протягивалась мне для поцелуя, из левой я получала всегда конфету или яблоко. Зная, что на этом все и кончается, я почти бегом пускалась прочь из зала.

Вторая картина рисует мне большую полутемную кухню, теплую, чистую. Должно быть, днем, во время стряпни, меня в кухню не пускали, потому что я никогда не помню огня в плите и пара над кастрюлями и сковородками; я помню кухню всегда вечером при свете двух «пальмовых» свечей, стоящих на громадном кухонном столе. Себя я вижу всегда сидящей на этом же столе. Я представляю себя неотъемлемой, постоянной принадлежностью кухни; моя няня тут же возле меня сидит на табурете, чинит, шьет или вырезает мне из старых карт лошадей, кукол, сани, мебель. Возле меня, на столе же, но на байковом старом одеяле (чтобы все-таки не пачкать стол), всегда сидит или лежит мохнатая длинноухая Душка – собака, родившаяся в один день со мною, выросшая почти в моей колыбели и потому безраздельно отданная в

¹ Доброй ночи, дорогая мама!

мое владение.

Эта Душка всегда сопровождала меня и, вопреки новейшим теориям о коках и микробах, лизала все мои детские ссадины, царапины и ожоги и пила мои слезы, вызванные обидой или гневом.

Пришлый элемент в кухне составляли мои братья. Я была четвертый ребенок в семье, но первая дочь; братья были гораздо старше меня, но погодки между собой. Старший – красавец Андрей, брюнет, с цыганским типом лица, вспыльчивый, почти жестокий в своих играх – требовал всегда во всем абсолютного себе подчинения и главной роли. Два младшие брата – Ипполит и Федор – близнецы, составлявшие совершеннейший контраст между собою, беспрекословно подчинялись ему во всем не только в детстве, но и позже, когда все трое были уже офицерами. Не знаю, под влиянием отца и матери или сам Андрей сумел так высоко поставить свое первородство, но только мы безмолвно признавали его и покорялись ему до тех пор, пока судьба не разбросала нас по свету и не поставила между нами непреодолимую, чисто географическую преграду – расстояние.

Ипполит, худенький, подвижный блондин, с пылкой фантазией в играх, задира и трус, чаще всех вызывал гнев матери и расплачивался не только за себя, но и за нас всех.

Когда я вспоминаю наше давно прошедшее детство, теперь, когда уже ни отца, ни матери, ни брата Андрея, ни Ипполита нет в живых, мне становится горько именно потому,

что в этих встающих передо мною картинах детства слезы, розги, сцены необыкновенной вспыльчивости матери – все падало на белокурую голову худенького, суетливого, но, в сущности, доброго и милого мальчика, каким был Ипполит.

Третий брат, Федор, был необыкновенно толст и неповоротлив; он вел себя примерно, ел много и в девять лет все еще держался за юбку своей няни Марфуши, уроженки Архангельской губернии. Марфуша обожала его, защищала от всех, как коршун своего птенца, и нередко вступала чуть не в рукопашную с обидчиками ее любимца «Хведюшки». Она собственноручно сшила ему халат и ермолочку, в которых он, на всеобщую потеху, и щеголял по утрам и вечерам. Не только у Андрюши, одиннадцатилетнего мальчика, но и у Ипполита няnek уже не было, но Федор надолго сохранил свою. Уже кадетом, прибегая домой по субботам, прежде всего он отыскивал няню и кидался в объятия своей Марфуши, целовал ее лицо, руки, а та, дрожа и захлебываясь от слез, поглаживала его по спине и проклинала «аспидов», изводящих ребенка.

Братья в нашей кухне, как я уже сказала, представляли пришлый и нежеланный элемент; Андрей и Ипполит врываются туда с шумом, гамом, требованиями и немедленно изгонялись обратно в комнаты, к своей гувернантке, или та сама являлась за ними на кухню и уводила. Федя же, опять-таки не знаю вследствие каких соображений, не разлучался с няней Марфушей и потому часто появлялся на кухне вместе

с ней; она подсаживалась к свече и тоже принималась за какую-нибудь работу. Федя примащивался на другой табурет и мирно играл со мною, причем обыкновенно уважал мои капризы и требования.

Стол, на котором я сидела, собственно, был крышей большого ящика для кур, стены его были решетчатые, пол усыпан песком, и на сделанных внутри жердочках спали несколько кур и большой красноперый петух. Изредка их движения во сне, какой-то неясный шорох или тихое хлопанье крыльев придавали полутемной кухне особую таинственность, что-то невидимое копошилось подо мной, и иногда с бьющимся сердцем я, бросив игрушки, прислушивалась и шепотом спрашивала няню:

– Нянечка, это кто так делает: крха-крхум?

– Петух, родная; бредит, должно, во сне...

– О чем он бредит, няня?

– О деревне небось: там хорошо, привольно, не то что в клетке!

– А в деревне хорошо, няня?

– И-их, как хорошо, сударыня вы моя! Зимой теперь посидки (посиделки). идут у нас, девки в одну избу понабьются, прядут, песни поют, хохочут, парни в гости найдут, семечек принесут, жамок... Опять свадьбы теперь играют... хорошо-о...

И няня, крепостная бабушки, доставшаяся моей матери в приданое, бросала работу и уставляла глаза в угол кухни.

Сколько я ее помню, она всегда тосковала о своей деревне, хотя, взятая оттуда десяти лет, более уже не покидала Петербурга и свою дочь, родившуюся у нас, отдала впоследствии в модный магазин и вырастила полубарышней, не имевшей понятия о крестьянской жизни...

Посреди кухни была самая таинственная и привлекательная вещь: большое железное кольцо, ввинченное в половицы. Когда за него тянули, в полу мало-помалу открывалась черная четырехугольная дыра и виднелось начало лестницы, но куда она вела — этого я никак не могла понять. Мне объяснили, что это люк, просто люк. В моем детском воображении слово это принимало самые фантастические образы: то мне казалось, что это подземный сад, потому что из него вытаскивали морковь, зеленый лук, огурцы, то, напротив, я думала, что это волшебный пряничный домик, полный сахара, миндаля, орехов и других сладостей. В то же время слово это было полно и ужаса, потому что няня моя, боясь, чтобы я когда-нибудь не полезла туда вслед за нею, уверяла, что там живет громадная семихвостая крыса, которая схватит меня, если только я наклонюсь вниз, в открытый люк.

Когда мне было пять лет и воображение мое настолько развилось, что я могла давать оценку разным явлениям, то я часто свой страх или восхищение выражала одним словом — «люк». Я говорила: «черно, как люк; страшно, как в люке», или: «так много, много всего хорошего, точно наш люк!»

Во время вечерних сидений в кухне никогда не обходи-

лось без того, чтобы няня не говорила Марфуше:

– Подержи детей, я слазаю в люк достать им гостинца.

И вот, с замиранием сердца, обхватив руками Душку, я ждала, когда скрипнет подъемная дверь, которую няня тянула за железное кольцо, откроется черная громадная пасть, в которой мало-помалу исчезала фигура няни со свечой в руке. Мысль о семихвостой крысе, о громадном страшном подземелье какими-то бесформенными видениями носилась в моем воображении, и я не спускала глаз с люка до тех пор, пока темнота в нем не начинала снова розоветь и из нее не выплывала наконец фигура няни, несшей на этот раз, кроме свечи, еще и решето, в котором были разные вкусные вещи.

Что думал в то время брат Федя, я не знаю, но мне кажется, что он, так же как и я, верил в семихвостую крысу: по крайней мере, его большие голубые глаза выражали такой же ужас, как и мои, и, пока няня находилась в погребе, он сидел тихо, прижавшись к своей Марфуше. Часть лакомств отсылалась в горницы старшим мальчикам, остальное давали нам.

– Няня, крысу видела? – спрашивала я.

– Видела, сударыня, сидит тихо, глазищи большие и семь хвостов шевелятся.

– Няня, она тебя не тронула?

– Нет, нет, голубочка, она только на детей бросается.

– Почему на детей?

– Потому что дети бывают злые, они у нее раз маленьких

крысят отняли и утопили; помнишь, как Андрюшенька?..

При воспоминании о том, как брат Андрей, рассердившись на какого-то дикого котенка, притащил его домой и, несмотря на то что котенок, защищаясь, в кровь изодрал ему руки, утопил-таки его в водопроводе, Федя начинает плакать, Марфуша бросается к нему, утирает слезы своим передником и прижимает к груди, шепча:

– Подь, подь ко мне, дитятко, дай рыльце хвартуком утру, ишь дите сердешное, вспоминать зверства не может.

Я не плачу, но вцепляюсь в мохнатые уши Душки и, глядя в ее круглые добрые глаза, шепотом объясняю ей, что никогда, никогда не обижу ее детей и Андрюше не дам обидеть их, и прошу няню объяснить семихвостой крысе, что я никогда бы не потопила ее детей.

– Вот когда енералом будет мой Хведюшка, – продолжала Марфа, – он тогда задаст нашему черномазому разбойнику. – И она шутя трясет кулаком в сторону Андрюшиной комнаты.

– Ну уж будет Феденька генералом или нет, – вступается няня Софьюшка, – это еще бабушка надвое сказала, а вот что моя Наденька графинею или княгинею будет, это уже верно, ей сам царь двери отопрет, вот как! – И няня, смеясь, целует меня.

После этой фразы, которую моя няня повторяет довольно часто, мы все неизменно пристаем к Софьюшке с расспросами.

Глава II. Император Николай I отворяет мне дверь. – Нянин рассказ о страшном былом

– И расскажу, и расскажу, – торжественно повторяет няня, – сто раз буду рассказывать, чтобы барышня моя, как большая вырастет, эту честь помнила.

– А ты небось испугалась? – смеется Марфуша.



*Н. А. Лухманова
своей дорогой дочери Варваре -
29 Авг. 1902 г.*

Надежда Александровна Лухманова (1840–1907) – русская писательница, одна из самых известных воспитанниц Павловского института благородных девиц.

*«Человеческое счастье лежит в светлых
воспоминаниях детства»
(Надежда Лухманова)*

– И, Господи! Дня три тряслась, все не верила, что так сойдет...

– Няня, рассказывай, рассказывай, – пристаем мы. И, одев нас лакомствами, няня начинает:

– Гуляли это мы, Надечке годок был, не больше, она у меня на руках, Душка с нами, а щенок ее, Мумчик, что теперь у дяди Коли живет, у меня в кармане. Уж это мы завсегда тогда такие прогулки делали: без щенка ни-ни, лучше и не выноси мою барышню, вся искричится. Вот я и придумала: положу в карман ваты побольше, а потом посажу Мумчика. Он так привык, что, бывало, спит в кармане, пока не придем в сад, ну а потом вынем его да к матке. Она кормит его, играет, а Надечке – потеха. Только нагулялись мы и идем, – и сколько раз нам барин говорил: не ходите днем по парадной швейцарской, ходите другим входом, тем, что в офицерские квартиры ведет. Ну, а на этот раз, как на грех, барышня моя домой запросилась, и я ближайшим ходом да через парадную. Подхожу, а к швейцарской подкатывает какой-то генерал, ну генералов-то мало ли тут мы выдаем, я иду себе, прошла из швейцарской в коридор, а за мною шаги, повернула я голову – вижу, приехавший генерал идет, я себе дальше, а дверь-то к нам в коридор тяжелая. Я посторонилась, думаю: генерал пройдут, я не дам двери захлопнуться и перейму ее.

А барышня-то у меня на руках сидит, личиком назад и, слышу, – смеется, ручонками генералу знаки делает, а он – ей, играется, значит, с дитей; только я остановилась и хочу переждать, а он-то смекнул, верно, что дверь тяжела, шагнул мимо нас, веселый такой, да красивый, да высокий, ну, чистый орел, дверь сам открыл и говорит:

– Проходи, нянюшка.

Я говорю:

– Чтой-то, ваше превосходительство, мы позади. Пожалуйте вы спервоначалу...

А он говорит:

– Нет, ребенок вперед!

И подержал нам дверь... Поблагодарила я его, дура, – спасибо, говорю, ваше превосходительство, – да тут же диву и далась: генерал-то в наш коридор и не пошел, а повернулся от дверей направо – в классы! Думаю, не знает дороги, жаль, не спросила, кого ему, собственно, надо?.. Только подумала, а в коридоре-то как грянет: «ура!», кадеты-то наши все из классов гурьбой вылетели, только топот по всему дому стоном стоял. Как услышала я это... поняла! Поняла моя головушка бедная, что то был сам государь, сам император Николай Павлович... И мне, мне-то, рабе своей последней, двери подержал:

«Ребенок, – говорит, – вперед!» Задрожали у меня колени, просто хоть на пол садись, еле доволоклась до дверей, мимо меня барин наш, Александр Федорович, бегом пробе-

жали, должно, им знать дали, на нас только походя руками замахал.

Господи Ты Боже мой! А за нами-то Душка, а в кармане-то у меня щенок!.. Верите, едва жива, посадила я барышню в кроватку, выложила им в ножки щенка, да сама к барыне бегом, да в ноги, слезами обливаюсь... перепугала барыню-то нашу, она подумала, с дитей что приключилось... рассказала я ей... Что, говорю, мне будет? А барыня-то наша горячая, по щекам меня раза четыре ударила... и поделом! Не велел барин по парадной... вот и наскочила! Я в ножки кланяюсь, молю – не выдайте!.. Думала, разыскивать станут и невесть что сделают... пошла в детскую, за барышней своей ухаживаю и все Богу молюсь: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его»... Вернулся барин... веселый-превеселый: царь-государь в кухню ходил, прямо из котлов кушанье пробовать изволил и всем порядком остался доволен, все похвалил!.. А про меня – ни слова!.. Барыня тут барину все от себя и рассказала: и как мы шли, и как встретили, и как игрались барышня с государем, и как сам отворил он нам двери и сказал так милостиво:

– Проходи, нянюшка, ребенок – вперед!

И опосля много, много раз меня это рассказывать заставляли, цельный год, бывало, как новый гость, так сейчас меня зовут и – рассказывай, да ничего не упуская! И всякий гость, как послушает, так и скажет:

– Ну, твоя барышня далеко пойдет, коли ей сам государь

Николай Павлович двери отворял!

– Вот и я говорю, – заканчивала обыкновенно няня, принимаясь меня целовать, – будет моя барышня княгиней, аль графиней, аль еще кем побольше и не забудет свою дуру няньку, так, что ли?

Я обнимала ее, целовала и обещала: никогда, никогда не забуду!

Федя играл со мною вырезанными из карт куклами; мы сажали их в сани, возили на прогулку, сажали за столы, кормили обедом и укладывали спать на кровати за ширмами из карты, сложенной гармоникой. Обе няни шили, изредка перекидываясь словами, Марфуша мурлыкала какую-то песенку. Кухня точно дремала, теплая, тихая; на тяжелых полках блестели ряды медных кастрюль, вытянув в ряд свои прямые ручки, нагоревший фитиль пальмовых свечей бросал временами неверный свет, дрожал, вспыхивал, и мне казалось, что кастрюли виляют хвостиками, их круглые очертания представлялись мне выгнутыми спинами каких-то странных животных, я вдруг поражала няню вопросом:

– Няня, а кастрюли живые?

– Господь над вами, барышня, кастрюли живые? Да ведь они из меди; Марфуша-то небось знает, как их чистят: ее дело!..

– А я видела, как они хвостиками машут!

– Выдумаете тоже, – смеялась Софьюшка, – хвостом машут!.. Что они, прости Господи, ведьмы, что ли?

– Няня, а ты видела ведьму?

– Наше место свято! Зачем ее видеть?.. я так, к слову... довольно того, что я вашего дедушку видела, вот уж не к ночи будь помянут!..

История о дедушке, богатом помещике, над которым была учреждена опека «за жестокое обращение», жила в нашей семье, как страшная легенда о человеческих зверствах и распущенности. Бабушку, жену его, все уважали и любили; она, к ее счастью, овдовела еще молодая и получила немедленно казенное место начальницы института; единственный сын ее, дядя Коля, воспитывался в лицее, а дочь (моя мать) вышла замуж по любви за молодого полковника, который бросил военную службу и принял место, как тогда говорили, «доходное», чтобы содержать прилично свою молодую красавицу жену. С самого детства и до моего замужества, то есть до самой кончины моей дорогой бабушки, баронессы Доротеи Германовны Фейцер-Фрок, я слышала отрывки из истории жизни моего деда, и, когда разрозненные звенья эпизодов наконец связались в моем сознании в одну страшную, мрачную картину, я пожалела тех, чья жизнь невольно переплелась с жизнью этого человека, – пожалела и его самого, потому что на него смотрели как на чудовище, а это был просто душевнобольной, может быть, даже родившийся психически ненормальным, место которого было скорее в сумасшедшем доме, чем в обществе.

– Няня, дедушка был очень злой?

— Ох, родная моя барышня, волк лютый, что в стадо бросается и овец терзает, добрей дединыки вашего! Он все-таки, коли насытится, лютовать не будет, а тому ни день, ни ночь, ни час, ни срок отдыху не было!

— И тебя он бил?

— Меня? Не то что бил, а убил бы, да хуже того, несчастной сделал бы, кабы не бабушка ваша, барыня моя старая, Дарья Германовна; любила она меня за то, что родилась я вместе с сыном ихним Александрушкой, который теперь уже помер; мать моя и выкормила его... Большой грех за меня на душу старая барыня в те поры приняла, а только без этого не спасти бы ей меня и не быть мне в живых. Было мне тогда годков восемь, не более, девчонка я была здоровая, бойкая да румяная, дедушка-то ваш, уезжая как-то в Питер по делам, и сказал бабушке: как вернусь, так Соньку приставлю к себе трубку закуривать. Ничего ему не ответила Дарья Германовна, а только как уехал он, меня она ночью с отцом моим выслала верст за сорок, в другую деревню, где подруга ее замужем была, а на другой день вышла моя мать со слезами да всем и объяснила, что больна я и в барыниной комнате лежу. И дня через три гроб сколотили, чурбашку туда положили и в могилку зарыли, даже поп отпел. Приехал недели через две старый барин, и ни один человек ему не выдал, что у нас тут было, кто и знал, так за барыню стоял. Знали, что не меня одну, а всякого, кого могла, спасала она от лютости мужа своего. Так я два года и прожила в чужой деревне, у чужой

барыни, а тем временем много делов совершилось: бабушка ваша, Дарья Германовна, в столицу сбежала, до самой царницы матушки дошла, дело разбирали, дедушку имения всего лишили и тем самым так рассердили его, что он и умер.

Детский ум мой, не умеющий разбираться в значении фактов и схватывающий только слова, становится в тупик, конечно, под впечатлением известия о бегстве бабушки.

– Как убежала? – спрашивала я. – Далеко убежала? Устала она?

– А вот как убежала! Маменька моя мне все это потом рассказывала. Окромья дяденьки, Николая Дмитриевича, как я вам сказала, был еще жив и Александр Дмитриевич! Дедушка ваш черноволосый, что цыган был, Андрюшенька наш весь в него вышел, и Дарья Германовна темноволосая, и маменька ваша, и братец ихний, Николай Дмитриевич, а Сашенька – ведь вот поди ж ты! – в мае родился и что цветочек полевой: весь светлый, волосы желтые, глаза голубые – ровно херувим, и кротости безмерной. Отец-то его, зверь, и говорит: старший сын – а не в меня и не в мою породу! Я, говорит, отучу его за юбки-то прятаться.

А Сашенька и вправду, как завидит отца, задрожит весь и норовит за няньку или за маменьку свою схорониться... Ну и отучал! Господи Боже мой, как отучал! С ученья-то с этого самого и помер Сашенька, уж подростком был... Вот его-то смерти бабушка и не вынесла – убежала.

– Да как же она убежала-то? – допытывался Федя.

— А вот все по порядку, дойдем и до этого... Уж коли начала рассказывать, так надо все вспомнить. Поставит папенька его в открытое окно, лицом в сад, на голову ему наденет шапку теплую, а поверх нее ружье положит и почнет стрелять ворон в саду, а бабушку-то, Дарью Германовну, в спальне на замок запрет, уж та и молит, и просит, и рыдает за дверью, а он знай себе: паф да паф — до тех пор, пока Сашенька без чувств на пол скатится. Толкнет он его ногой и уйдет, а на завтра опять за то же. Гулять пойдет, примется ребенка учить плавать, а как учит? Разденет да в воду и бросит, как щенка... Только раз вот так-то и доигрался... Сидел Сашенька в углу комнаты и книжку читал, а отец у окна трубку покуривал да вдруг как крикнет:

— Александр, ступай в мою комнату, неси ружье!.. Барыня и взмолилась:

— Дмитрий Александрович, Христом Богом прошу, не тронь ребенка, дай ему хоть неделю отдохнуть, извелся он совсем, по ночам не спит, горит весь...

— Небось, — говорит, — не сгорит, а учить надо, зачем такую дрянь родила!..

А барыня молить, известно — мать, встала на колени и руки целует, а Дмитрий Александрович и толкни ее в грудь...

С Сашенькой ровно что случилось! Вскочил, побелел, что плат, затрясся да к отцу; глаза горят, как у волчонка! Не смей, кричит, бить маму! Не смей! — и кулак на отца поднял. Захохотал барин да как хватит чубуком черешневым

Сашеньку по головке... упал тот... да так и зашелся, словечка не крикнул... Что тут было, что тут было – не приведи Господи! Барыня бросилась к барину, и сорвалось тут у нее страшное слово... Коли ты, говорит, убил своего сына... – и Божьим проклятием пригрозила! Маменька моя у дверей стояла и все слышала; вбежала она в комнату, подхватила ребенка на руки и бросилась вон, а бабушка за нею... а барин кричит: убью, убью, Дарья, убью! Побежал он в свой кабинет, схватил ружье и бросился за барыней, а та вместе с моей маменькой в спальню вбежали и дверь за собою на замок заперли, а дверь-то дубовая, пушкой не расшибешь... Барин давай дверь ломать и все кричал: убью, убью, Дарья!.. Сашенька-то очнулся и застонал. Маменька моя давай молить барыню бежать. Бегите, говорит, матушка барыня, Христа ради, бегите на деревню, там вас спрячут, а к ночи гнев у него уляжется, и вернуться можно... остальные дети далеко с мамадой в лесу, а Сашеньку я не выдам, да он теперь его и не тронет...

Дарья-то Германовна знала, что Сашеньку маменька моя лучше ее самой отходит, коль Бог поможет... Перекрестила она его, да из окна и выпрыгнула, да садом, оврагами – на деревню. На их счастье, барыня старосту повстречали, а тот мужик умный, как услышал, в каком раже барин находится, до того осмелел, что схватил барыню за руки да задами по огородам с нею бегом, в самую бедную избу-развалюху, бо-былки Афи-мы. Печки-то, знаешь, Марфуша, небось наши

русские? По субботам в них мужики да бабы парятся, так вот в эдакую печку и схоронили они Дарью Германовну, заставили ее корчагой квасной, заслонку не закрыли и в избе дверь открытой оставили; Афимья легла на лавку в угол под образ и ну стонать, как больная... Староста убег, а через минуту на селе уж такие страсти стояли, что не рассказать!

Барину дверь-то маменька моя как отперла, потому Сашенька опять чувств лишился, так и увидел он, что барыни нет! На сына и не взглянул, смотрит – окно открыто, сам в него прыгнул да в деревню! С ружьем из избы в избу бегал, подай ему барыню, да и только! В воздух стреляет, бабы воют, на коленях на улице стоят, ребята режут, за матерей прячутся, девки – кто куда: которая в лес, которая на гумно, одна со страху в колодезь о ту пору бросилась, так и утопла без помощи, не до нее всем было...



Портрет Николая I. Художник – Франц Крюгер. 1852 г.

Николай I Павлович (1796–1855) – император Всероссийский с 14 (26) декабря 1825 года, царь Польский и великий князь Финляндский. Третий сын императора Павла I и Марии Федоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II

Забегал барин и в избу Афимьи, да та от стона слова вымолвить не могла! Видит он, изба на все ветры открыта и окромя больной старухи ни души, он туда больше и не вернулся...

До ночи рыскал, пригрозил: деревню, говорит, сожгу, мужиков всех в солдаты, лоб забрею, а баб пытать стану – кожу сдеру!..

К ночи вернулся домой, заперся в кабинете и начал пить; под утро стих, видно, сломился, заснул...

Барыню-то нашу голубушку крестьяне в ту ночь на лошадях за сорок верст к подруге ее справили, где и я жила, а та ее сейчас на своих заводских конях да к губернатору самому, тот ее дальше да больше, да так до столицы, до самого государя быстро дошла она, да, слышь, в самые ножки царевны-то и упала. Так и так: извел... измучил... сына убил... Сердце-то матери, известно, вешун, – угадало... Сашенька-то к утру того дня преставился... Андел, мученик святой! – Няня утерла слезы и долго крестилась... – Эта-то смерть только барина и удержала... Слово-то страшное Дарья Германовна молвила: что, коли убил сына... устратило небось... Ни де-

ревню не сжег он, ни людей не тронул, а заперся у себя в кабинете, что в могиле. В доме все притаились, неделю Сашенька лежал без погребения: кто без отца, матери хоронить господское дитя осмелится! Священник, батюшка Никанор, и тот не посмел приступить, а тут гроза и грянула: сам губернатор приехал, разных властей понаехало... похоронили ребенка... О чем тут с барином толковали, чем его в резон привели – никому не известно, а только все он узнал: что сама барыня до царя дошла, что приказ есть крестьян отобрать от него и самому ему срок даден в столицу явиться... Маменька моя да мадама с детьми – нашей теперешней барыней Надеждой Дмитриевной да братцем ихним Николаем Дмитриевичем – были отправлены в Петербург.

Уж тут даже не знаю, как и говорить, – задумывалась няня, разводя руками, – разно толковали люди и всех не переслушаешь: то ли с сердцов у барина печенка лопнула, с обиды ль да с гордости сердце не выдержало, то ли сам на себя он руки наложил, а только конец ему пришел, стал он все пить да по ночам кричать – все ему Сашенька покойный представлялся, – и вскоре нашли его в кровати у себя мертвым.

Вот какие страшные дела на деревне у нас были и каких ужасов понатерпелись люди от старого барина, Дмитрия Александровича. Бывало, маменька моя, царство ей небесное, ночью вскочит, вся дрожит, потом обливается – барин ей приснился. Они оттого молодые и померли, что такими страстями надышались, а иначе чего им не жить? Как с

детьми приехали в Петербург, так Дарья Германовна их к себе взяла, а уж характер старой барыни всем известен: ангел по доброте.

А теперь вон и барыню Надежду Дмитриевну вырастили, замуж отдали, да дочь ее, моя барышня ненаглядная, у меня на руках. Уж и я мужа схоронила, свою дочку Софью вырастила. Время-то не лежит, а вперед бежит, а только хоть и девчонкой я деревню покинула, все-таки скажу – хорошо там: река, лес, опять по зорям пастух играет, ой, как хорошо!

* * *

...Так ли, теми ли самыми словами рассказывала моя няня – не знаю! Но так, именно так, в этих самых выражениях, с этими жестами, в ясной до мельчайших подробностей обстановке кухни запечатлелись рассказы няни в моей памяти. Теперь, на склоне моих лет, я ничего не сочиняю, ничего не придумываю; картина детства встает передо мною и слова льются, как подсказанные. Правда, рассказы эти повторялись при мне часто и в разное время, потому что жизнь моей няни (тогда крепостной), неотлучно связанная с моим детством, была, наверно, не богата собственными интересами, а потому память ее беспрестанно возвращалась к ярким и страшным картинам ее юности.

Глава III. Моя бабушка. – Ипполитова Лыска. – Розги. – Как меня спасает бабушка

Присутствие наше, то есть Федино и мое, в большой чистой кухне, вероятно, разрешалось матерью (отец, очевидно, не играл никакой роли в нашем воспитании), и мы заседали там по вечерам, когда не бывало дома гостей и никакой стряпни не предполагалось. Обыкновенно же стряпавший на нашей кухне повар после обеда, прибрав все с помощью Марфуши, уходил в общее помещение для всех служителей при корпусе. Мать не терпела, чтобы между женщинами без дела болтались денщики или другие лица мужского пола; даже собственного крепостного Степку, которого я мельком видела в голубой ливрее, она временно переуступила своей двоюродной сестре Любочке.

Самой светлой, самой красивой, самой любимой личностью в моем детстве была моя бабушка, та самая Доротея Германовна, баронесса Фейцер-Фрок, которую когда-то крестьянка Афимья спрятала в своей печи.

Я слышала впоследствии, что многие называли мою мать красавицей, и никогда не могла согласиться с этим. Или мать слишком рано отцвела, или собственное мое понятие о красоте не подходило к ней; мать моя была среднего, почти

маленького, роста, очень худощавая брюнетка, с желтоватым цветом лица, длинным, очень тонким носом, несколько свесившимся к выдающемуся острому подбородку; глаза у нее были темные, с длинными ресницами, но часто мигали, взгляд был уклончив; черные волосы ее, разделенные прямым пробором, всегда были покрыты каким-нибудь «фаншоном»² из черных кружев. Маленький рот с тонкими губами сжат с выражением горечи и обиды; очень худые тонкие пальцы унизаны кольцами... Такой я помню ее в институте, куда она аккуратно приезжала ко мне по четвергам и воскресеньям, всегда с гостинцами, но и всегда с длинными, строгими нотациями, превращавшими наши свидания в тяжелое, скучное времяпрепровождение; она всегда становилась на сторону классных дам, начальницы и учителей и мучила меня нравоучениями.

В годы до вступления в институт я ее почти не помню, точно все свидания мои с ней были так же мимолетны, как и те вечера, когда я, в сопровождении няни Софьюшки, появлялась в освещенных комнатах, причем отца заставляла за карточным столом, и он поил меня шампанским, а мать – за роялем, окруженную офицерами и другими гостями.

Бабушку же свою я помню отлично, с ее большими кари-ми строгими и в то же время необыкновенно добрыми глазами. Ее жесты, походка, улыбка, смех, голос – все так и стоит в моих глазах, так и звучит в памяти. Бабушка была вы-

² Головной платок (*фр.*).

сокого роста и ходила как должна была в моем воображении ходить царица; бабушку все, начиная с моих отца и матери, боялись, но не страхом, а особым почетом, уважением, как высшее существо; в ее присутствии все подтягивались, всем хотелось быть лучше, удостоиться от нее похвалы или поощрения. После смерти мужа, потеряв состояние, она приняла казенное место (которое оставила впоследствии, чтобы жить со своим сыном Николаем Дмитриевичем, когда тот кончил лицей) и все-таки вращалась в самом высшем петербургском кругу, притом не она, а к ней ездили все, кто только ее знал.

Я помню на бабушке платья только трех цветов: черное, шелковое или бархатное, смотря по обстоятельствам, перламутрово-серое – в торжественные дни и белое – в большие праздники и в дни ее причастия (бабушка была лютеранка). Ни колец, ни каких-либо золотых вещей я на ней никогда не видала, но кружева ее вызывали кругом завистливые похвалы и удивление. Густые волосы бабушки, мне кажется, были всегда седые, красивого цвета старого серебра, без малейшей желтизны; причесывалась она на прямой пробор, короткие букли скрывали уши; лицо ее было всегда бледно и бело, как слонобая кость, лоб перерезывала черная бархотка (эта бархотка шла по лбу, а концы ее уходили под волосы. (Прим. авт.)) в палец ширины; говорили, что бархотка эта скрывает глубокий рубец от удара, нанесенного ей дедом. Без этой черной оригинальной полоски я ее никогда не видала; с нею она лежала и в гробу.

К нам бабушка приезжала часто, и мы при ней всегда были особенно светлые, радостные, не плакали, не ссорились. Она всегда осуждала мою мать за чересчур модные наряды, в которых нас водили, и за розги, составляющие один из принципов нашего воспитания. Дни, когда меня отпускали к бабушке, были днями веселых праздников: во-первых, у бабушки был серый попугай, который говорил, как человек, и давал себе чесать головку. Была собака Душка N 2, дочь моей Душки, такая же белая, с коричневыми пятнами, мохнатая, добрая и пустолайная; потом у бабушки был волшебный шкаф... Когда его дверь открывалась, мне казалось, что он вмещает в себя все, что необходимо для человеческого счастья: в нем были стеклянные бокалы с леденцами, монпансье и какими-то мелкими драже в виде коричневых шариков, они таяли во рту, оставляя на языке вкус кофейного ликера.

Там же были книги с картинками и ящик с крупным разноцветным бисером, из которого я нанизывала себе ожерелья и кольца. Я никогда не видела бабушки у себя дома без работы, и те немногие навыки вышивания, вязания и шитья, которые такгодились мне впоследствии, я получила от бабушки в те счастливые часы, которые под болтовню попугая Жака и радостный лай Душки я проводила у ее ног. Я никогда не слыхала, чтобы бабушка сердилась... В минуту неудовольствия она смолкала, глядя пристально и грустно на виноватого, и этого было довольно: мы, дети, в такие минуты с плачем бросались целовать ее руки и просить прощения,

даже непокорный, всеми балованный красавец Андрей обожал бабушку и смолкал перед нею.

Бабушка была невольной причиной большой «козьей драмы», разыгравшейся в нашей семье незадолго до болезни отца и моего поступления в институт. Началось все это так.

Не помню, по какому делу, но няня моя была отправлена матерью на несколько часов из дому. Уже одетая, Софьюшка привела меня в комнату матери и дорогой, идя по коридору, наказывала мне быть умницей, играть с куклой, которую я несла в объятиях, не надоедать мамашеньке и ждать, пока она, няня, вернется и придет за мною. Я тихо вошла в большую комнату.

Около окна за пальцами сидела мать и вышивала. Она была большая искусница и любительница вышивать по канве. Подойдя к матери, я сделала реверанс и поцеловала ее руку, она погладила меня по голове.

– Ты, Софья, там лишнего не болтай у Любочки (Любочка эта была та тетя, у которой жил Степка в голубой ливрее), а то там как со своим Степкой начнете про деревню, так тебя и к ночи не дожدهшься.

– Матушка барыня, да смею ли я...

– Все вы теперь смелые, – тихо и сердито сказала мать, намекая на все больше и больше ходившие слухи о воле. – Подай сюда скамеечку, вот ту, поставь ее возле пялец и посади Надину. Ты чем хочешь заниматься? – обратилась она ко мне.

А я уже увидела на ее пяльцах несколько пар блестящих ножниц, и глаза мои разгорелись.

— Позвольте мне, татап, ножницы и карточки, я буду кукол вырезать.

— Ну вот и прекрасно! Нянька, подай там со стола разрозненную колоду карт.

Мать отобрала небольшую пачку и вместе с маленькими ножницами, имевшими тупые, закругленные концы, передала мне.

Я, довольная, задвинула скамеечку под самые пяльцы, села там, как в маленькой комнатке, поместила против себя куклу и принялась за вырезание. Няня, под предлогом поправить мне платье, нагнулась под пяльцы, поцеловала мои руки и, шепнув: «будьте умницы», вышла.

Тогда от окна отошла третья особа, выжидавшая терпеливо, пока мать сядет снова за вышивание. Это была одна из приживалок, которыми всегда окружала себя мать; бесцветная, безличная Анна Тимофеевна, кроме имени которой я ничего не помню, взяла книгу, присела около пялец и громко продолжала по-французски, очевидно, прерванное чтение.

Не понимая, конечно, ни слова, я сидела тихо, поднимая изредка голову, следя за мелькавшей рукой матери и любясь длинными концами разноцветных шерстинок, висевших внизу, как борода. Мать вышивала фон одноцветной зеленой шерстью, а пестрые концы шли от всевозможных цветов, которые она, вероятно, чтобы не прерывать работу, остав-

ляла незакрепленными. Тогда, конечно, подобного соображения не было в моей голове, и, считая эти висевшие над моей головой хвостики никому не нужными, я, забыв карты и куклу, усердно принялась отрезать у самой канвы. Идиллия эта нарушилась вдруг раздавшимся в соседней комнате быстрым топотом детских ног; чтение оборвалось, мать нервно вскрикнула, когда в отворенную дверь вбежал Ипполит. Высунув голову из-под пялец, я увидела его заплаканное лицо, и сердце мое забилося от страха: вбегать в комнату тапан без зова, конечно, было не в наших привычках.

— Мапан, тапан! — кричал Поля. — Лыску убили, я сам видел — солдаты убили Лыску, мою Лыску!

Лыска была рыжая некрасивая собака, которую Ипполит как-то давно уже притащил с улицы домой. Мать была всегда добра к животным и на горячие просьбы мальчика позволила оставить ее в квартире, с условием, чтобы та не появлялась в комнатах. Лыска жила в кухне и, вероятно, потому обожала комнаты и пробиралась туда, как только находила возможность незаметно прошмыгнуть. За все, в чем только могла провиниться Лыска, доставалось брату Поле. Тем не менее он был нежно привязан к собаке, делился с ней всем и в отсутствие матери часами играл с нею и возился. Из окна своей комнаты он видел, как солдаты палками били что-то рыжее, мохнатое (оказавшееся впоследствии меховым ковриком генеральши). Пылкая фантазия мальчика разыгралась, и с воплем и криком он бросился за помощью и защитой к матери.



Санкт-Петербург в XIX веке

– Матап, – рыдал он, весь дрожа, – прикажите отнять у них Лыску, мою Лыску, они убьют ее палками!

– Что такое? Что такое? – кричала мать, зажимая уши руками. – Где твоя гувернантка? Где *mademoiselle Marie*³? Как ты смеешь так врываться ко мне?

– Матап, Лыска...

Но в это время случилось самое неожиданное: Лыска, дав-

³ Мадемуазель Мари (*фр.*).

но пробравшаяся в комнату и сладко спавшая под диванчиком, прикрытая его длинной шелковой бахромой, вылезла оттуда, потягиваясь, сладко зевая и виляя своим пушистым хвостиком.

– Маман, вон Лыска! – крикнула я и захохотала. Поля бросился к собаке, ухватил ее за шею руками и стал целовать.

– Это он нарочно! Вас напугать хотел! – зашипела приживалка.

Этого было совершенно достаточно, чтобы мать, всегда безмерно строгая к Ипполиту, вспыхнула, схватила его за ухо и потащила из комнаты с криком:

– Это тебе так не пройдет! Так не пройдет! Розог... Когда через несколько минут мать, усталая, красная, еще сердитая (так как она всегда сама производила экзекуцию), вернулась, то застала меня лежащей на ковре в страшных слезах. Лыска была уже выгнана, а Анна Тимофеевна рассказала матери, как я ее била ногами и руками в живот, когда она нагнулась утешить меня.

– Господи, какая тоска! Минуты нет покоя, – сердилась мать, – эту Софью только пошли, так она и провалится...

В эту минуту приживалка нагнулась поднять клубок упавшей шерсти и так ахнула, что я моментально вскочила на ноги. Мать тоже взглянула на пол и всплеснула руками: пестрые кончики шерстинок лежали и кучечками, и вразброд... Она бросилась к вышиванью и удостоверилась, что незакрепленные крестики цветов начали уже «распускаться» –

вышивка была безнадежно испорчена.

– Нет, это невозможно! Это невозможно! Эта дрянная девчонка испортила мне всю работу!

Теперь настал мой черед получить розог.

Но на пороге комнаты мать столкнулась с входившей бабушкой, из-за спины которой виднелось бледное, перепуганное лицо няни Софьюшки.

– Бабушка, ба-буш-ка, баба милая! – рыдала я, цепляясь за ее платье. – Лыску солдаты били, а Полю высекли, Лыска спряталась под диван, а я под пальцами красные ниточки резала; не буду, не буду, никогда не буду, не надо розог, ба-ба, ба-буш-ка!

– Да что это такое? Что у вас случилось? – Бабушка властно взяла меня из рук матери и передала няне, которая немедленно исчезла со мною в детской.

С леденцом во рту, обняв за шею няню, я долго еще плакала, а Душка, забравшаяся на стол, лизала мне уши и щеки. Я рассказывала про пестрые ниточки, висевшие на пальцах, просила их отдать назад маме, спрашивала, есть ли у няни еще леденчик, чтобы передать Поле, которого больно, больно высекли, и хотела идти сказать Лыске, чтобы она не ходила к солдатам... наконец, утешенная, помытая, я заснула в кровати.

Бабушке, как всегда, удалось успокоить мать и выпросить для меня прощение. Ипполита же привела гувернантка и, из педагогических соображений, заставила его просить проще-

ня, которое он после долгих нотаций и получил.

Глава IV. Шесть разбойников и бабушкин подарок

Я могла не знать, какой день недели был, когда стряслись все описанные события, но хорошо помнила, что наутро была суббота. Об этом мне заявили по очереди все три брата, отправлявшиеся в кадетский корпус за тремя двоюродными братьями: Евгешей, Виктором и Сашей, проводившими у нас все праздники. Каждый из мальчиков был в эти дни горд и преисполнен презрения ко мне – девчонке.

– Нянечка, – говорил Ипполит, – не пускай к нам Наденьку: мы можем ее ушибить, когда разыграемся.

– Не ходи к нам, – предупреждал Федя, – а то они, кадеты, сильные, вздуют тебя.

– Если ты, нянька, – с расстановкой заявлял Андрей, сжимая кулаки и блестя глазами, –пустишь к нам девчонку, так уж пусть она не ревет и не бежит жаловаться, если мы ей бока намнем! Сегодня у нас будет большая война, все городские ворота (двери их классной и большой отцовской канцелярии, отдававшейся на эти дни в их распоряжение) будут заперты; я сам расставляю стражу и буду обходить; женщин будем расстреливать, если они попытаются проникнуть к нам. Слышала? – И, грозно сдвинув брови, он важно прошел дальше.

Няня по моему возбужденному лицу хорошо понимала,

какую прелесть имеет для меня эта война и каких страшных усилий будет стоить ей удержать меня в детской и не дать проникнуть туда, за городские ворота, и постаралась разбудить во мне достоинство:

– Не больно-то мы и рвемся к вам, как бы вы к нам не запросились! Мы с барышней в кухне сидеть будем, из люка разных гостинцев свежих достанем, сказки станем рассказывать.

Говоря это, она наблюдает за мной, но, увы! сердце мое горит одним желанием – быть там, с мальчишками, с шестью веселыми разбойниками, крики и хохот которых страшно заманчивы.

– Я тоже хочу играть в войну!... – кричу я сердито.

– В войну! Ты – девочка! – Андрей оборачивается, презрительно хохочет и подходит ко мне. – Знаешь ли ты, что из каждого осажденного города прежде всего удаляют женщин и детей? Всегда! Понимаешь? Как же я могу позволить, чтобы мои войска, которые будут брать сегодня приступом город, где запрется Евгеша со своим войском, стреляли по женщинам? Нянька, втолкуй ей это! – И, тряся плечами, как генерал, надевший впервые густые эполеты, он уходит; за ним, полные покорного восхищения, идут Ипполит и Федор.

Ничто – ни краснобокие яблочки, ни Душкины прыжки, ни нянина ласка – не может утешить меня в том, что я не увижу, как приступом берут город, как Евгеша с войском будет защищаться, и я горько плачу, топая ногами от бессиль-

ного гнева.

– Натальюшка пришли и что-то принесли барышне от бабыньки Доротеи Германовны! – докладывает Марфуша, забежав в детскую.

Мигом мои слезы высыхают, няня наскоро мокрым полотенцем утирает мне лицо, оправляет вышитый фартучек и ленту, связывающую снопом мои густые рыжие волосы.

Натальюшка – это любимая горничная бабушки, ее ровесница и наперсница, никогда не расстававшаяся с ней, даже в ту ночь бежавшая вместе с нею за сорок верст в чужое имение и оттуда в Петербург.

Тихая, маленькая, сморщенная, выглядевшая гораздо старше бабушки, беззаветно преданная ей, она являлась всегда к нам с подарками или приглашениями.

Натальюшка вошла степенно, помолилась на образа, поцеловала мои руки, потом уже поцеловалась с няней и спросила ее, почему у барышни личико покраснелось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.